

Аполлон Александрович Григорьев

Великий трагик

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
А76

А76 **Аполлон Александрович Григорьев**
Великий трагик / Аполлон Александрович Григорьев – М.: Книга по Требова-
нию, 2012. – 40 с.

ISBN 978-5-4241-2741-0

В очерке "Великий трагик" описывается впечатление от игры выдающегося итальянского артиста Сальвини, который в середине XIX в. был еще мало известным.

ISBN 978-5-4241-2741-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Григорьев Апполон
Великий трагик

Аполлон Григорьев

Великий трагик

Рассказ из книги "Одиссея о последнем романтике"

В мирном и славном городе Флоренске, как зовет его Лихачев, {1} посол царя Алексея Михайловича к Дуку Фердинандусу, - я жил в одной из самых темных его улиц... или нет, не улиц. Улица - это *via*, *via*, например, *Ghibellina*, *via Кальцайола*, а я жил в Борго, в *Borgo Sant-Apostoli*, т. е. в улице, состоявшей из нескольких улиц, перерываемых множеством узеньких, маленьких, грязеньких *кьяссо*, {2} которые были отдушинами Борго на Лунгарно, т. е. на набережную Арно. Отдушины эти - нельзя сказать чтобы отличались благовонием, тем более что в них вы не встретили бы ни разу обычной надписи: *Si il nome christiano portate* {Если вы носите христианское имя (итал.).} {3} и т. д. Нельзя сказать также, чтобы *кьяссо* отличались особенными изяществом и роскошью. Из них под вечер выскакивают обыкновенно на Лунгарно или оборванные синьоры "с чужим ребенком на руках" {4} и с припевом, действующим ужасно на человеческие нервы, если только эти нервы не канаты или не укреплены какой-нибудь крепко всаженой в них теорией - хотя бы теорией, например, английской о вреде безразличной помощи ближним или нашей доморощенной об исключительной помощи соотечественникам. Но теория, как известно, мастерски вьет из человеческих нервов канаты, на которые ничто не действует, даже болезненный, пожалуй, выученный, но лучше сказать, вымученный тон стона синьоры в отребиях, {5} преследующей вас своим *sono fame, signer, sono fame* {я голодна, синьор, я голодна (итал.).} от Понте-Веккио до Понте делла Тринита и гораздо далее, нагло - но как-то жалко-нагло цепляющейся вам за рукав, поспевающей за вами, как бы вы ни ускоряли ваши шаги. Не могу также добросовестно сказать, чтобы *кьяссо* были замечательны относительно целомудрия их обитателей. *Pst, pst* - этот призывный клич слышится вам из окон почти во всякое время дня и ночи и, право, едва ли не болезненней *Jo sono fame* действует на вас, особенно когда вы только что вышли из галереи *Уффиции* или шли из-за Ольтр-Арно, {6} из палатцо Питти, где женственная красота и чистота столь бесконечно разнообразными идеалами наполняли вашу душу, так уверили вас в своем бытии, такие гармонические ответы дали на ваши вопросы.

А задние окна моей комнаты, как нарочно, выходили на один из таких *кьяссо*, и я мог всегда, когда только захочу, иметь перед глазами отрицательную поверку идеалов.

Был апрель. Итальянская весна дышала всем, чем ей дано дышать и целыми стенами роз по стенам садов в городе и по дорогам за горе дом, и блестящей совсем молоденькой, разноотливистой зеленью в Кашинах, и целыми роями ночных светляков в траве, скачущих, летающих, кружащихся перед вашими глазами, как маленькие огненные *эльфы*. Была весна... но, впрочем, что я говорю - была, лучше сказать - стала весна, основательно утвердилась, потому что еще и прежде в конце февраля, в начале марта, она вдруг, неожиданно высывывала иным утром из-за травки, из-за листьев деревьев свою светленькую кудрявую головку и вдруг обдавала вас жгучим пламенным взглядом. Не шутя я помню совсем весенний, дышащий росой и свежестью вечер в один из первых дней великого поста и совсем весеннее, сияющее, обдающее жаром утро с палящими лучами солнца, нагревшими ожидавшую меня у Сан-Донатской церкви карету.

Итак, весна стала...

Толковать о том, какое тревожное, немного страстное, немного тоскливое чувство развивает в душе северного человека весна, - будет, кажется, совершенно излишне; на тысячу ладов и всегда разнообразно пересказывали нам об этом странном чувстве наши поэты, особенно трое из них. {7} Лучше их мне не сказать - смешные бы это были претензии повторять ими сказанное, сводить в новую мозаическую картинку помеченные ими черты, увлеченные ими оттенки, одним словом, сочиняя по печатным источникам физиологию весенних чувств... это повело б нас бог знает как далеко, в целую этюду, а таковой мне писать в настоящую минуту не хочется. Скажу вам только то, что сам особенно почувствовал. Иногда мне казалось, что либо наша весна лучше, или мы, северные люди, глубже чувствуем. А в сущности ни то ни другое. Наша весна приходит резче, приходит с тальми ручьями, возбуждая больше ожиданий, сильнее раздражает нервы, изменяя радикально все природы, обращая ее из белой в зеленую, из сжатой и суровой в растаявшую, распускающуюся, сильнее и тревожнее дышащую всеми порами после долгого усыпления под снежным саваном. Одним словом - вот поневоле обратишься к любимым поэтам - весной у нас

Еще лежит, белеясь средь полей,

Последний снег и постепенно тает, {8}

и оттого-то таким криком радости, ликования приветствуем мы ее:

Весна идет! Весна идет! {9}

и оттого-то:

Какой-то странной жаждою

Невольню грудь полна,

И над душою каждою

Проносится весна... {10}

Да, "май вылетает к нам" из "царства вьюг и снега". {11} Мы его ценим, мы ценим весну как гостя, - а в Италии она вечный жилец, только притаивающийся на время. Весна в Италии, как шалун мальчик, которого поставили в угол: нет-нет- да вдруг и выкинет он гримасу, в которой проглянет самая безнадежная неисправимость, самая неистовая жажда жизни. Зимой я часто дрог благодаря безобразию каминов, ибо до печей итальянцы, по милой распушенности своей, не дошли, да и никогда не дойдут, несмотря на многократные опыты холодов до замерзания маленьких ручьев; мужчины греются в кофейных, а женщины... но зачем женщины копят себя проклятыми жаровнями? Кабы вы знали, как это неприятно, особенно принимая во внимание прирожденную неопрятность всякой синьоры и синьорины! !.. Итак, зимою бывало страшно холодно... Выйдешь продроглый на Лунгарно, на солнце - лучи его сияют по-весеннему и поневоле долой верхнее платье... Сошед с Лунгарно, углубишься немного в эти узкие улицы, с их мрачными и сырыми каменными комодами и сундуками, носящими название домов, - и опять дрожись до нового пространства, до нового просвета ярких, всегда весенних лучей солнца... Я помню, раз в самом разгаре зимы вздумалось мне ехать в Сиенну; только что вышел я за городские ворота, на пространство между зданием железной дороги и _Кашинами_... всякая зима исчезла у меня из глаз и помышлений. Налево зелень _Кашин_ - толпы легко одетых женщин пешком, экипажи с дамами, которые только из явного кокетства набросили на плеча опушенные мехом или даже вовсе не опушенные мантильи...

Солнце жжет - а это было в конце января. Мои читатели, не бывавшие в Италии, подумают, что я им сказки рассказываю?.. Не так ли?

Но мое путешествие в Сиенну обращает меня к предмету моего рассказа... Дело в том, что с начала апреля я особенно хандрю - не только что вследствие влияния весны на нервы, но потому еще, что был один. Приятель мой Иван Иванович тоже уехал в Сиенну после святой недели. Другой мой приятель, несмотря на свое богатырское сложение, раскис до противности от тоски по отъезде любимого предмета и при каждом свидании терзал меня - Господи! что влюбление может сделать даже из умного и порядочного человека маниловскими мечтами о мечте семейных радостей... и замучил совсем, заставляя раз по пяти при свидании сопровождать себя, когда он с искренним неистовством пел что-то такое из опер Доницетти, в чем беспрерывно звучали слова: "Vedi im angelo, un angelo in Ciel" {"Я видел ангела, ангела в небесах" (итал.).} - это что-то было, коли хотите, вещь прелестная, равно как и одна весенняя серенада, сочинение флорентийского маэстро, аббата Федериги (аббаты там нередко композиторы весьма страстные, по старой памяти), - и пел все это мой друг так хорошо, как поют соловьи в весеннюю пору, но от повторения все это приелось... Я жаждал Ивана Ивановича с его эксцентрическими движениями, едкой хандрой, "метеорскими" выходками и тонкими замечаниями - даже с его цинизмом, наконец, с его дикими, противными "загулами".

Я заметил вообще, что мы особенно жаждем того, что или скоро нам дается, или уж вовсе никогда не дастся, так что наша жажда есть или простое чутье собаки на трюфли, {12} или неутомимая работа червя, подтачивающего и без того уже гнилое дерево.

Иван Иванович дался мне очень скоро - стало быть, жажда моя была чутье пса.

В один прекрасный день - употребляя это казенное выражение вовсе не в казенном его смысле, ибо день в самом деле был прекрасный, - отобедавши в ближайшей от меня трактирии {13} delle antiche Carozze, я решительно не знал, что с собою делать до самого вечера, когда я мох идти к одной прелестной до самых зрелых лет и впечатлительной - вероятно, до самой дряхлости - женщине; и такие экземпляры, надобно заметить, встречаются только между северными женщинами: да и туда как-то против обыкновения не манило. Разговор наш с нею принимал всегда такое серьезное, почти суровое направление, так искренно касался глубоких вопросов души и жизни, что мне не хотелось серьезного разговора - мной владели лень и апатия, из которой может вывести душу только новое впечатление, а уж никаким образом не анализ. Правда - и честь за это женщинам вообще, честь глубине и мягкости женской натуры - мне случалось выносить из бесед с моей доброй соотечественницей чувство светлое, примиряющее; но в самом светлом чувстве было что-то унылое, как свет сумерек, что-то похожее на затихшую боль, на усталое и готовое за что угодно ухватиться сомнение. Такого впечатления я не хотел - да и, во всяком случае, его надобно было ожидать до вечера, а было еще только четыре часа. Идти в монастырь Сан-Марко и отдаться всей душой великой религиозной поэме фресков Беато Анджелико... Для этого надобно было быть способным хоть на минуту переселиться сердцем в ее пролог, в страстное упоение страдания, с которым его Доминик судорожно обнимает крест Распятого, - а способность переселяться в подобные миры

Лишь в лучшие мгновенья
Бытия слетает к нам... {15}

как сказал наш Беато Анджелико, Жуковский.

...Когда я вошел в свою комнату, куда решил вернуться на время, она, с ее холодным мрамором каминов, окон и столов - в Италии нипочем ведь мрамор; вы его часто встретите там, где уж никак не ожидаете, - показалась мне еще унылее, еще серее, в противоположности с тем ярким весенним светом, который заливал половину площади del gran Duca. Бессмысленно прислонился я к окну и бессмысленно стал глядеть на мрачную и узкую улицу; явления были все известные: *santo padre* {святой отец, монах (итал.)} с кружкою и с закрытым лицом, немного покачиваясь справа налево, тянул с сильным горловым акцентом однообразную *литанию*, {16} испрашивая подаяния бедным, разносчик безжалостно-звонко, всей ужасной полнотою итальянского грудного крика орал: "*Carciöfi, carciöfi*". {"Артишоки, артишоки!" (итал.)} Проревел, наконец, трижды и ослик под грузом какой-то тяжести; прошли, громко рассуждая и размахивая руками, трое тосканских солдат, да какая-то растрепанная синьора густыми контральтовыми нотами обругала - или, как говорится у нас в Москве, обложила куплетами - засаленного и босого на одну ногу мальчишку... Во всех этих звуках было что-то такое полное и сильное, что бывает подчас совершенно *непереносно* и для наших северных нервов... Мне не раз случалось чувствовать истинную злобу на разносчиков и торговцев Флоренции, на какое-то ужасное, зверское, разбойничье выражение лиц их, при беспощадном сиповато-грудном крике, - как в другие минуты случалось ценить и любить эту силу, мощь, порыв итальянской природы - разлитые всюду: в человеческом голосе, в реве осла, в стрекотанье итальянских кузнечиков, которые всегда мне казались задатками итальянских теноров, - ибо, право, у каждого итальянского кузнечика бычачья грудь *невыпешегося*, но сильнейшего тенора Ремиджио Бертолини, которого слышал я целый осенний сезон... Но в этот день я бы не вынес и Ремиджио Бертолини, и кузнечиков: тем неприятнее действовали на меня звуки, несшиеся из улицы. Попробовал отойти от окна и приняться за чтение - как раз оказалось, что дело неподходящее... Глаза читали, а душа была далеко - где именно, и сама она не знала с точностью; а была далеко, в каких-то весенних снах, в тех легких и прозрачных снах отрочества, которых невозможность так тяжела в тридцать пять лет... На часах пробило пять. Вошла синьора Линда с кувшином горячей воды *per il the*, {для чаю (итал.)} ибо я и в Италии сохранил привычку пить три раза в день китайский напиток, от которого итальянцы, если вы его им предложите, отказываются со словами: *Gratia, signore, non voglio purgar mi...* {Благодарю, синьор, я не хочу слабительного (итал.)} На этот раз я сам отказался от чаю, ибо даже на меня, привыкшего, как москвич, к его употреблению, он стал сильно действовать весною, только не в том отношении, в каком боятся его итальянцы... Вместо того чтобы пить чай, я вдруг спросил синьору Линду: "*Carissima signora, dite mi - avete un amante?*" {"Дражайшая синьора, скажите мне - есть ли у вас возлюбленный?" (итал.)}

Линда, крошечное, добродушно-миленькое, хотя немножко рябенькое и значительно неопрятное существо, нимало не смутилась от моего вопроса и тотчас же отвечала с самую наивную радость, как будто бы выиграла в тосканскую лотерею 300 пиастров:

- Si, signor!! {- Да, синьор!! (итал.).}

Право - что-то такое детски-радостное было в этом ответе, что... да что тут говорить - мне стало просто досадно.

Чтобы дать, однако, какую-нибудь приличную причину моему кому вопросу, я достал несколько пар затасканных перчаток "l'amante della signora". {"для возлюбленного синьоры" (итал.).}

"Signora" ушла в истинном восторге, - а я... опять остался один.

Наконец я решился на крайнее, последнее, отчаянное средство - я пошел в Кашины.

Вовсе не гиперболически называю я это крайним, последним, отчаянным средством. Большая часть моих читателей не знают конечно, такое Кашины. Кашины (Cashine) - герцогский загородный скотный двор, с прекрасным парком, с прекрасными узенькими дорожками для пешеходов и с широкими для экипажей. Там присутствует ежедневно вся фешенебельная Флоренция и даже вся не фешенебельная зимой от трех до шести часов, летом от пяти до семи. Не фешенебельная гуляет по лесу и по берегу Арно... Фешенебельная сосредоточивается на пьяцоне. Место прекрасное, нечто вроде берлинского Тиргартена, если вы его знаете, и наших Сокольников, которые вы наверно знаете, только гораздо лучше Тиргартена и несравненно хуже Сокольников. Во всяком случае, из этого описания Кашин читатели никак не поймут, почему мне так трудно было собраться в Кашины. Все зависит, извольте видеть, от обстоятельств. Идя в Кашины, я имел два шанса: или попасть на берег Арно и неминуемо встретить доброго приятеля, мечтающего о мечте семейных радостей, или героически решиться на пьяцоне, на эту небольшую площадку, загроможденную стоящими экипажа: всегда одними и теми же, напоминающими всегда одни и те же попы интриги, de secrets, que tout le monde connaît, {тайны, всем известные (франц.).} которые известны тому, что сами интригующие об этом всем рассказывают. Чтобы понять все то омерзение, которое чувствовал я к пьяцоне, надобно знать хоть немного, хоть по слуху, - что такое Флоренция - не та Флоренция, которая раскидывается перед вами своими сурово-стильными памятниками прошедшего, которую полюбите вы искренно в театрах, кофейнях и на узких улицах, несмотря на все неистовство итальянского горлана. Нет! а болотная, сонная, праздная, делающая "ничего", "il far niente" (это совсем не то, что ничего не делающая), погрязшая в маленьких интригах и пошлых сплетнях, не могущая жить и дышать без этих сплетен. Отнимите от Флоренции ее вековечное прошедшее и в настоят поглубже лежащие пласты ее населения - и вы получите в результате губернский город Т. или В. или какой хотите. Пока вы - как со мной было целых полгода видите и знаете только верхние, снаружи лежащие пласты жизни, вы готовы сказать, что жизнь здесь одряблела, разменялась на мелочь, на бесконечную пошлость, однообразную, безличную, как стертая монета. По этим наружи лежащим пластам жизни проходит именно наша губернская струя: с одной стороны, всеобщая радость всякому маленькому скандалу, с другой добродушное правило: "кому какое дело, что кума с кумом сидела", - и этим, коли вы хотите, объясняется предпочтение Флоренции другим городам Италии всеми праздношатающимися лицами обоего пола из разных иностранных наций. Во Флоренции - безграничная терпимость в отношении ко всяким скандалам и вместе с тем вечный толк о скандалах, интересы губернских сплетен, стертость и пошлость мелочной, дрянью

удовлетворяющейся жизни... Но об этом когда-нибудь после. Теперь же сделал я черную заметку потому, что мне хотелось объяснить вам все мое отвращение к пьяццоне, этому губернаторскому саду губернского города Флоренска.

А все-таки из двух зол я предпочел идти на пьяццону... В чужих мечтах есть что-то раздражающее, что-то вызывающее на отрицание всегда более или менее крайнее, преувеличенное, стало быть, всегда более или менее ложное, за что после упрекаешь самого себя, как за некоторую позировку. Человек так уж устроен, что, когда он становится в близкое отношение к другому человеку, ему хочется всегда заставить ближнего быть зеркалом, в котором он может глядеться, когда захочет, и весьма редко удается одержать такую победу над самим собою, чтобы обратиться самому в зеркало для ближнего. Я, может быть, еще более других - говорю это без малейшей натяжки - способен быть зеркалом для чужой радости, чужого горя и чужих интересов - но ненадолго: отрицательное или, проще, не возвышенным слогом говоря, самолюбивое начало берет верх, и зеркало начинает показывать доверчиво смотрящемуся ближнему на лицо его и гримасы лица. Хорошо это или дурно - право, я не знаю. В былую пору я назвал бы это критическим отношением к личностям, да этим бы и порешил, как будто сказал дело; в былую пору я стал бы даже уверять, что сам готов вытерпеть в отношении к собственной особе то, что один приятель называет продергиванием и в чем он, между прочим, большой мастер, но говоря так, я бы только добросовестно надувал самого себя и других... Я знал целый кружок, в котором _продергивание_, критическое отношение друг к другу - было чисто догматом, и в ту пору я искренно негодовал на одного весьма желчного и раздражительного господина, который говаривал, что ни одного ближнего не следует баловать до того, чтобы он когда угодно мог безнаказанно запускать лапы, часто довольно грязные, во внутренность _искренней_ души. Кто был правее: кружок или желчный господин, для меня доселе осталось еще загадкой; знаю только, что в самом кружке каждый любил систему продергивания только в отношении к другим и никак не мог сохранить надлежащего спокойствия, когда очередь доходила до его собственной особы; знаю, с другой стороны, что и в правиле желчного господина отражалось оскорбленное самолюбие, что это правило вело к чистому самопоклонению.

Впрочем, я весь обратился в сомнение, - и вы, мои читатели - не слушайте меня, а поступайте по собственному сердцу. Если оно и лжет в вас, то лжет все-таки наименее, добросовестнее чужого правила.

Когда я дошел до пьяццоны, обычная жизнь ее была в полном разгаре, т. е. празднующиеся юноши и старцы (некоторые из старцев пляшут во Флоренции до 80 лет, и с большим успехом) слонялись между экипажами, передавая итальянским синьорам и нашим русским барыням обычные сплетни; грек, капитан российской службы, сидя на скамье подле музыкантов, рассказывал под гром музыки в стопятый раз о давно известном карнавальном скандале, не щадя репутации соотечественниц; столетний шевалье, спящий за зваными обедами, потому что спать ночью мешают ему стучающие духи, и евский, по сказаниям общества, человеческое мясо на островах Тихого океана, таскал по пьяццоне свою длинную и худую, как шест, особу; англичанки с неподвижною чинностью сидели в колясках, а зато одна из наших львиц хохотала без умолку с пожилым, но красивым итальянцем, картинно опиравшимся правою рукою на ее

коляску... одним словом, явления обычные.

Вдруг из-за толпы, окружавшей музыкантов, которые играли из Верди что-то неумолимо-шумное, показался Иван Иванович. Я так и бросился к нему.

- Хорош, нечего сказать, - закричал я, невольно увлекшись неожиданностью его появления, - хорош! Во Флоренции - и глаз не покажете.

- Здравствуйте, - отвечал он, прорываясь ко мне и обеими руками схватывая мою протянутую руку. - Можете себе представить, - продолжал он, что я только что сейчас с железной дороги.

- Как сейчас?

- Так... Багаж - впрочем, багаж мой, как вы знаете, весьма невелик, прибавил он с добродушной улыбкою, - бросил в Сан-Дonato у приятеля, а сам помчался сюда, чтобы как-нибудь добить полтора часа до театра.

- До театра? Что вдруг за страсть припала к театру... Корради, что ли, вы не слышали? Он спал с голосу: тенор слаб - basso profundo {глубокий, низкий бас (итал.)} груб, как дубина, и трио идет отвратительно. А примадонна - немка. В дуэте Арнольдо и Матильды {17} она и тенор это две немазанных телеги, которые одна на другую наезжают... - Все это проговорил я скороговоркою и со всем увлечением злобной досады, потому что накануне был жестоко обманут в своих ожиданиях насчет "Вильгельма Телля". Обещала Пергола {18} в этот сезон что-нибудь путное и надула страшно. Во всю осень и зиму только и был хороший оперный сезон от сентября до половины декабря, когда в Перголе пели "_Джованну ду Гузман_" {20} (_местное_ переименование "Сицилийских вечере") {19} да "_Тратора_" {21} Альбертини и муж ее Бокарде, а в Пальяно Ремиджио Бертолини без особенного искусства, но с могучеством свежего голоса и дикою энергиею производил Рауля в "Anglican!" (местное же переименование "Тугенотов")... {21} Иван Иванович знал все это, как и я же, - и оттого-то стремление его к театральному позорищу показалось мне поистине изумительным.

Но, прежде всего, вы не знаете, мои почтенные читатели, кто такой Иван Иванович. Скажу вам откровенно, что вы и мало узнаете о нем и о его судьбах из сего первого рассказа. Одиссея о нем - весьма длинная одиссея. На первый раз скажу вам, что Иван Иванович один из моих старых университетских товарищей, что в былые времена подавал, как говорится, "_блестящие надежды_" всему своему факультету и последующую жизнь жестоко разочаровал благодушно-доверчивый и почтенный факультет в его надеждах, что вот уже года четыре, как он шляется за границу, проживая маленький капитал, который достался ему после престарелой бабки. Мы с Иваном Ивановичем живали несколько раз полосами общею жизнью - и вот в городе Флоренске выпала нам опять такая общая полоса. Скажу вам еще, что Иван Иванович - брюнет, и, кроме знойно черных, но каких-то усталых глаз, _особенных_ примет не имеет: с лица довольно худ, И' худоба его еще поразительнее от его длинных, висящих до плеч волос, губы у него тонкие и бледные, иногда странно судорожно подергивающиеся - и это самая резкая особенность его физиономии. Что вам еще прибавить о нем? Да... он отлично играет на гитаре, хоть никогда этим, как, может быть, и ничем вообще серьезно, не занимался - и от него-то с предпоследней полосы нашей общей с ним жизни происходит моя несчастная страсть к этому инструменту, очень нелегко дающемуся, несмотря на все мои труды и усилия, приводившие в глубокое отчаяние всех моих домашних и всех московских друзей, и поныне, рано или

поздно, но постоянно успевающие приводить в некоторое остервенение хозяев различных квартир и отелей, в которых случается мне жить за границую. Есть безнадежные страсти, и они с годами безнадежно же укореняются. Выщипывать иногда тоны из непослушного инструмента стало для меня такой же необходимостью, как выпить утром стакан чаю, - и ведь надобно правду сказать, что, когда я говорю о безнадежности страсти своей, я делаю уступку злым приятелям и не менее злым хозяевам квартир и отелей. Надежда никогда не покидает человека. Во всяком случае, в моей гитарной страсти виноват Иван Иванович, виноваты эти полные, могучие и вместе мягкие, унылые, как-то интимные звуки, которые слышал я только от него и от Соколовского и которые, как идеал, звучат в моих ушах, когда я выламываю свои пальцы. Один из злых приятелей, {22} из лютейших и безжалостнейших врагов моей гитары, - в минуту спекулятивного {23} настроя, когда всякое безобразие объясняется высшими принципами, понял это. "Господа, - сказал он, обращаясь к другим приятелям, - они в это время играли все в карты, а я, уставши играть и взявшись за лежавшую на диване гитару, старался выщипать унылые и вместе уносящие тоны "Венгерки". Господа, - сказал мой приятель (вероятно, ему пришли в это время в голову разные выводы из столь любимой им психологической системы Бенеке), - я понимаю, что он слышит в этих тонах не то, что мы слышим, а совсем другое".

Действительно - широкая и хватающая за душу, стонущая, поющая и горько-юмористическая "Венгерка" Ивана Ивановича раздавалась в это время в моих ушах.

"Да нам-то какво!.." - заметил на это другой приятель. Все захохотали, но замечание психолога все-таки было справедливо, - и я до сих пор, без надежды когда-либо услышать вновь в действительности могучий тон Ивана Ивановича, слышу его "душевым ухом". Почему же не быть и душевному уху, когда Гамлет видит отца в "очах души" своей. Но довольно обо мне и довольно об Иване Ивановиче - о нем, разумеется, довольно только на сей раз.

В ответ на всю мою злобную выходку против флорентийской оперы Иван Иванович сказал только:

- Гусь же вы, однако!

- Как гусь?

- Так, как гуси бывают... Вы толкуете мне об опере, а я вам говорю о Сальвини... - И он взглянул при этом настолько с торжеством, насколько обычная, унылая усталость его взгляда допускала торжество... - А я вам говорю о первом трагике Италии, - продолжал он с жаром... - может быть, добавил он еще с большим жаром, - о первом трагике в свете... Понимаете?

- Нет, все-таки не понимаю - *ich bin eben so klug, wie ich vordem war*, {я также мудр, как и раньше (нем.)} как говорят немцы.

- Здесь ведь теперь в Кокомеро играет драматическая труппа - не так ли?

- Да... только я в Кокомеро не был с тех самых пор, как мы вместе с вами слышали импровизаторшу...

- И когда мы ее так безжалостно с вами отделявали - помните? - сказал он смеясь.

- Мы с вами... т. е. вы ее отделявали, - возразил я... - Вот то-то и дело, бог вас поймет, Иван Иванович, то вы все режете анатомическим ножом, то вы чуть что не скачете от какого-то неизвестного господина Сальвини... Это у вас капризы,